**Эссе «Самый «трудный» в мире классик»**

 Малыковцева Ирина Викторовна

 учитель русского языка и литературы

 МБОУ «СОШ №14» им. А.М. Мамонова

 г. Старый Оскол Белгородской области

Истинно, истинно глаголю вам: аще пшеничное зерно, падши в землю, не умрет,

 то останется одно: а если умрет,

то принесет много плода.

 Евангелие от Иоанна (XII, 24)

Вот и грянул последний день его недолгой вечности, и он на пороге перед вратами неведомого… и тогда вдруг открылся ему таинственный смысл древнего перечня о том, что наступит миг, когда времени больше не будет.

До смерти оставалось несколько минут. Троих уже привязывали к серым столбам, прозвучала какая-то команда – он ее не расслышал, но увидел, как серые солдаты подняли ружья на изготовку. Теперь уже наверное… и этот саван, в который их облачили, и священник подносит уже крест для целования, и всем существом еще глухо осознается неотвратимое: «…отставного инженер-поручика Достоевского…, подвергнуть смертной казни, расстрелянием…»

Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия?

Достоевский переживал не казнь. Не только ее. Он ощущал Голгофу. Не в те ли мгновения и зачалось в чутком к тайнам человеческого бытия сознании Достоевского осмысление древней притчи как его, лично его переживания, состояния, судьбы: «Истинно, истинно глаголю вам, аще пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то принесет много плода»? И разве пушкинский Пророк, прежде чем получить право глаголом жечь сердца людей, не лежал «как труп в пустыне», с рассеченной мечом грудью и разве не было вынуто из нее его трепетное сердце человека?

Предчувствие своего нового, не сказанного еще слова о мире и миру – пришедшее перед лицом смерти – требовало жизни, бунтовало: «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! Эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорей застрелили… Но кто скажет ему: «Восстань…и виждь, и внемли?» Труден был путь к познанию человека, а лежал этот путь через каторжный ад. «… Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят? Ужаснейший взор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик… Христа понял… русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа», – говорил Достоевский Вс.Соловьеву.

Достоевский глубоко и болезненно переживал глухое духовное одиночество среди тех, кто не желал или не мог понять главной цели и главного содержания его творчества – обретения и ускорения в умах прежде всего русских людей осознания необходимости для истинно человеческой жизни великой непреходящей мысли. Для него это была мысль о «запредельной» высоте человеческого идеала, человеческого духа лика человеческого, лишь в единстве «с мирами иными», «с бесконечностью бытия» обретающего истину.

Слияние, единение со всем Вселенским бытием – как потрясение, в котором постигается Истина, – переживает Алексей Карамазов после пророческого восторженного сна о Кане Галилейской у гроба старца Зосимы. Как-то сам Достоевский, ведя беседу с Починковской, прочел ей стихи Огарева:

Я в старой Библии гадал

И только жаждал и вздыхал,

Чтоб вышла мне по воле рока

И жизнь, и скорбь, и смерть пророка…

Писатель, конечно, никогда не был националистом. Но страстным проповедником возрождения русского национального самосознания он, конечно, был, ибо в таком возрождении виделся ему единственный путь к решению «больных» для России вопросов.

Достоевский не только знал, что Западная Европа создала и другую цивилизацию, точнее – культуру, представленную Рафаэлем и Клодом Лорреном, Бетховеном и Моцартом, Данте и Гете, Бальзаком, Диккенсом и Гюго. Подчас он прямо лично и художественно ориентируется на высшие творения европейского духа. Кто-то замечательно сказал, что это была «перекличка гениев на вершинах». Ведь, как говорилось, за несколько минут до казни он восторженно вспоминает «Последний день осужденного на казнь» В. Гюго, а «молитва великого Гете» вела его к собственным размышлениям о «божественном лике» человеческом. Примеры можно тут многократно умножать. Для Достоевского эта тысячелетняя культура – вовсе не «кладбище», как думается Ивану Карамазову. Перенесение элементов воинствующего индивидуализма и обусловленного им все углубляющегося нравственного распадения, – убежден Достоевский, – будет губительным для национальной русской культуры, вообще для судеб России.

Наступившая после смерти Достоевского политическая реакция в стране постаралась использовать писателя как свое знамя. В советское время, в 1920-1930-х годах, началось интенсивное изучение Достоевского. Но его творчество всегда был полем битвы различных мнений, а на международной арене, – идеологической борьбы. На Западе появилось много работ, в которых Достоевский приравнивается к реакционному немецкому философу Ф.Ницше, проповеднику «высшей расы». Учение Ницше подхватывали все шовинисты в мире, а особенно Гитлер. Объективное истолкование наследия великого писателя чрезвычайно осложнилось. Ницше, апологет сильной личности, нашел в Жюльене Сореле Стендаля и Родионе Раскольникове («Преступление и наказание» Достоевского) своих героев, т.е. сильных людей. В 1887г. он писал одному своему корреспонденту: «Вы знаете Достоевского? Кроме Стендаля никто не был для меня такой приятной неожиданностью и не доставил столь много удовольствия. Это психолог, с которым я нахожу «общий язык». В Достоевском ценили величайшего философа.

Беспримерна смелость Достоевского в изображении глубин души человеческой – души борющейся, скрывающейся в нравственных подпольях и «закоулках», а то и прямо преступной. И все идеи, и поступки героев «перегорали» в осознании и душе писателя, переживались им, может быть с такой же силой, как его героями, иначе не было бы так могущественно и неотразимо их воздействие на читателей. Иной раз и в прямом смысле «мелочи» человеческого бытия и сильные, но не похвальные, а то и мелкие страсти охватывали его душу, не страшившуюся мрака и грязи реальности. И он бывал иной раз «мал» и вызывал отнюдь не дружелюбные чувства, казался чуть ли не «юродивым», был часто мрачно молчаливым, как бы открывающим в себе некую тяжелую тайну.

Все творчество Достоевского, начиная с романа «Бедные люди», посвящено страждущим, обездоленным. Ницше бросает страшную фразу: «Падающего подтолкни!» Достоевский отдал бы все, чтобы поддержать, спасти падающего. Писатель мучительно ищет ответ на вопрос: есть или нет Бога? Если нет, то мир рушится, ибо тогда все дозволено: и Мерзляков убивает отца, Раскольников старуху. Правда, потом они постигают, что даже если отречься от Бога, что не все будет дозволено, что есть в человеке неодолимое чувство. Имя этому чувству – совесть. Кант называл это чувство «нравственным императивом». Ницше не исключал этого чувства, но считал, что оно идет от христианства. Наказание Раскольникова состоит не в том, что его отправляют на каторгу, а в его собственном суде над собой. Раскольников спрашивал себя «можно ли разрешить своей совести перешагнуть». Оказывается, нельзя. Все страдания Раскольникова после совершения преступления с мучительной остротой убеждают его в этом. Здесь уже беспощадно действует «инквизиция совести».

«Братья Карамазовы» – там тоже преступление, и страдания, и любовь, и судебная ошибка, и страшные нервозные, истеричные люди, и страшные их судьбы, и над всем этим мрачным отсветом – проблема евангельского Бога. «Главный вопрос, проходящий сквозь все части книги, тот же, что был мною сознательно или бессознательно выстрадан: вопрос о существовании Бога», – подтверждает Достоевский.

Сложен и противоречив Достоевский – величайший писатель-реалист, знаток жизни, психолог-ясновидец, сострадающий бедным и угнетенным, гуманист, страшный обличитель социального зла, лжи и лицемерия, буржуазных порядков и «демократии», вечно озабоченный судьбой своего народа и человечества, он чрезвычайно субъективно ставил и решал вопросы о совершенствовании личности, об идеалах человеческого общежития. Достоевский думал, что «красота спасет мир». Теперь миру нужно самому думать, как спасти красоту. С предельной силой сейчас звучит главный завет Достоевского: смысл бытия не в том, чтобы только жить, а знать, для чего жить...

«Позовите серые зипуны, – призывал он, – и спросите их сами об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду… Я желал бы только, чтоб поняли беспристрастно, что я лишь за народ стою, прежде всего, в его душу, в его великие силы, которых никто еще из нас не знает во всем объеме и величии их, как в святыню верую…и жажду лишь одного: да узрят их все. Только чего узрят, тотчас же начнут понимать и все остальное. И почему бы все это мечта?» Вот таково его слово, с которым он уйдет, – он был почти уверен в этом. Ведь было же, было – его слово заставило обняться, объединиться даже недавних врагов, вызвало у них слезы раскаяния – пусть на мгновение, но все-таки это было. А раз было – значит, и может вновь, и уже не на мгновение, а на века? И не было ли это мгновение только отблеском, только вспышкой, прорывом из грядущего к настоящему.

– Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие, – попросил он. Анна Григорьевна уже привыкла к этому – когда на мужа накатывало сомнение, он накрывал наугад то свое, заветное, «каторжное», Евангелие и читал первые строки, стараясь отыскать в них вечный ответ на мучающие его вопросы. Открылось Евангелие от Матфея: «Иоанн же удерживал его.…Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».

 – Ты слышишь: не удерживай – значит, я умру, – сказал он, закрывая книгу.

В восемь часов тридцать восемь минут он был уже за чертой неизведанного.